

на один, и пока мы шли по коридору, не знал о чем с ним говорить. Было мучительно от обильного света, оттого, что идешь как слепой, не видя ничего под ногами.

Я сказал:

— Не слишком ли много света?

Сталин не сразу ответил...

— Вы хотели сказать: не слишком ли много охраны?

— Да, пожалуй и это.

Сталин снова задержался с ответом. Потом медленно, едва слышно, выцедил:

— Не в том беда, что много света или много охраны. Беда в том, что я не знаю, когда и кто из этих негодяев пустит мне в затылок пулю.

— По-моему, — заключил свой рассказ Иван Степанович, — мнительность и подозрительность Сталина к людям были вне всякой меры. Нетрудно было догадаться, что и ослепительный свет в коридоре тоже имел свое назначение, был вызван его подозрительностью.

— Что касается его «особой любви» ко мне или Кузнецову, — продолжал адмирал, — это заблуждение. Любой из нас мог стать жертвой, допусти в обращении с ним хотя бы малейшую оплошность, — мы с Кузнецовым были крайне осторожны и предупредительны. — И немного подумав, добавил. — А может быть, обжегшись на многих просчетах, на ощутимых потерях, поредевших рядах военачальников, он берег нас как военных специалистов?!

Я спросил у адмирала о Берия:

— Что представлял он из себя? Почему он так многое позволял при Сталине?

Иван Степанович пожал плечами:

— Это одна из загадок, которую Сталин унес с собою в могилу. Мало сказать, многое позволял себе, — продолжал адмирал. — Он бывал то хозяином над Сталиным, то его слугой. Как я уже говорил, он умирал от скуки на наших заседаниях, которые его мало интересовали. Он мог в это время не только шататься по кабинету из конца в конец, запросто переговариваться со Сталиным на грузинском языке, но и допускать любую скабрёзность, отчего Сталин смущенно отводил глаза или мягко обрывал его: «Иди, иди, Лаврентий, погуляй себе, если тебе с нами скучно».

— Но бывало и так, что Берия от одного взгляда Сталина обращался в мышонка, искавшего щель, куда бы юркнуть... Для нас, близко знавших Берия, — продолжал адмирал, — осталось загадкой, чем он мог привлечь Сталина, иметь даже на него влияние, этот никчемный человек, у которого если что и было, то одна похоть. — Горько улыбнувшись, Иван Степанович добавил: — А знаете, как он паскудно сдох? Приговоренный к смерти, в ожидании казни, он только и делал, что дубасил в дверь камеры, причитая: — Мне бабу!.. Бабу!..

Эти записи, как и многие другие, какие я сделал прежде, конечно, света не увидят. Я их пишу не для сегодня... Я подобен тому космонавту, который, выйдя на орбиту, уже не подчиняется земному притяжению. Я счастлив от такой свободы, будто выросли крылья и я лечу, лечу, не зная помех.

ЯШИНСКИЕ РЯБИНЫ

«Уважаемый Леонид Караханович! Обращается к вам литературный клуб «Яшинская рябина» в Вологде. Очень просим написать нам обо всем, что вы знаете о нашем поэте-земляке Александре Яковлевиче Яшине».

(Из письма)

Александр Яшин! И вспомнились стихи, которые мне довелось читать еще задолго до нашего знакомства. Они и сейчас у меня в памяти:

Да, только здесь, на севере моем,
Такие дали и такие зори,
Дрейфующие льдины в Белом море,
Игра сполохов на небе ночном.

Или:

И что из того, что уходят года
И не было в жизни спокойного дня,
Что стали страшить дожди, холода! —
Как солнечный свет, как живая вода,
Твоя любовь для меня.

Совсем недавно в дневниковых записях Александра Яшина, опубликованных в журнале, я прочитал такие строки: «Талант — это здорье и выносливость, без чего не может быть работоспособности».

Прочитал это с грустью, потому что Яшин никогда, сколько я его помню, не блистал здоровьем. Но блистал талантом. Что бы он ни писал, будь это очерк, эссе, проза или стихи — на всем лежала печать одаренности человеколюбца, самородка.

К сожалению, среди нас, писателей, нередко попадаются любители голубого покоя, которые проходят мимо ожогов жизни, балансируя между иллюзией и правдой. Это в лучшем случае. Попадают и такие, напоминающие ловких циркачей, которые бегут по туго натянутой проволоке, не балансируя, беря на мушку одну лишь призрачную иллюзию. Есть и такие — самоубийцы от литературы!

У Яшина было свое окно, через которое он смотрел на мир, на окружающую его жизнь. Драматизм происходящей ломки деревни, мучительные ожоги от ошибок, совершаемых в жизни, проходили через его открытое, незащищенное сердце. Его жизнь — это сплошные преодоления, землетрясения души.

Пронзительная жалость к человеческим судьбам, готовность помочь людям в беде были в крови у Яшина, были его призванием, главным стержнем жизни.

На фронте Яшин простудился, заболел туберкулезом. Его душила астма. Врачи освободили его от воинской службы. Яшин добивается, чтобы его оставили в армии, и остается в строю. На фронте ухудшается состояние здоровья. Врачи требуют серьезного лечения, дальнейшее пребывание в армии считают невозможным. Снова рапорт за рапортом, чтобы его не демобилизовали. Вняли мольбам, снова оставили в армии не на строевой службе. Нескладный, некрасивый, был любим женщинами, они так и липли к нему...

Есть люди, как звезды: их нет, а свет продолжает идти. Яшин относится к этой категории людей. Он любил весь мир, но больше всего любил землю, по которой ходил в детстве босиком, ощущал ее трудовыми руками.

Так и ушел из жизни на зависть сильный духом человек, не побежденный даже смертью. Умер так, как ручей умирает, входя в большую реку.

Александра Яшина как поэта я узнал в годы Великой Отечественной войны, читая его стихи, которые в самый разгар войны нет-нет появлялись в периодической печати.

После войны жизнь свела меня с очень хорошим человеком, моим первым редактором, Славой Владимировной Щириной, которая еще до войны преподавала в литературном институте имени Максима Горького, где учился Яшин и многие другие молодые поэты, ставшие потом известными литераторами. Со всеми она вела переписку и собиралась издать книгу из фронтовых писем своих бывших студентов, ставших воинами Советской Армии. Жизнь ее рано оборвалась и книга эта не увидела свет. Но письма Яшина были опубликованы в журнале «Дружба народов». Читая их, так и ощущаешь молодого, полного задора и веры в Победу воина и поэта, отдавшего всего себя служению Родине.

Как-то в беседе со Славой Владимировной речь зашла о Яшине. Узнав, что она хорошо знает Яшина, его жену Злату Константиновну, которых она искренне любила, я попросил познакомить меня с ними.

Но получилось так, что мы познакомились без Щириной, в Переделкине в Доме творчества. Сперва с Александром Яшиным, потом с его женой, Златой Константиновной, чудесным человеком, которая была и осталась истинным другом поэта, многое прощала ему и по капельке собирала все, что осталось неопубликованным в его архивах.

Первое, что бросалось в глаза при знакомстве с Яшиным, — его простота, его некоторая крестьянская угловатость. Это впечатление, по мере того как ближе общаешься с ним, меняется, куда-то исчезает угловатость, и перед тобой встает не очень уж простой, самодельный, легко раннимый, напористый, ершистый человек, но всегда

полный бесконечной доброты к близким, товарищам.

Как-то довелось мне вместе с ним и с группой писателей поехать на Дальний Восток. Поездка эта нас сблизила. Мы часто делились мыслями, которые то радовали нас, то печалили. Я о Нагорном Карабахе, моей родине, он о Вологде. И было нам, влюбленным каждый в свой край, чему радоваться, о чем взгрустнуть. Ведь жизнь наша зачастую движется вперед через толщу невзгод.

Среди нас были и другие именитые поэты, но на вечерах с читателями Яшин был в центре внимания.

Будучи нездоровым, он никогда не жаловался на свои недуги, а поднявшись на трибуну, весь преображался. Чуть прищуренные все видящие глаза, умеющие блестяще яростно, становились мягкими, теплыми, с какой-то потаенной доброй улыбкой, заключавшейся в них.

Читал он, чуть пригнувшись к трибуне. Читал тихо, глуховатым голосом, но не оставлял слушателей равнодушными. Шквал аплодисментов всегда встречал его появление на трибуне.

Таким он и сохранился в моей памяти: худощавый, с закинутыми назад светлыми волосами человек, который, несмотря на все удары жизни, остался человечным, стойким в своей доброте, большим гражданином и большим поэтом.

Дальний Восток с его зелеными падами, с его сопками и пригорками, поросшими лесами, с его новостройками, слишком уж напоминал мне мой родной Карабах.

Когда я поделился своим открытием с Яшиным, он удивился:

— Разве? А мне казалось, что многими своими чертами Приморье напоминает мою Вологду. Видели реку Каму? Так это же наша вологодская река. Я у ее берегов родился. А вот течет себе дальневосточная Кама и в ус не дует. — И добро, заразительно улыбнулся.

Впрочем, не одни мы с Яшиным находили в Приморье «кусочек» своей родной земли. Вот и ивановский писатель Аркадий Эвентов то и дело цокает языком, находя разительное сходство с родными местами окрестностей Иванова. А ленинградец Захар Дичаров и москвич Юлиан Семенов уверяют, что эти места сильно напоминают Подмосковье и Комарово. Я уже не говорю о латышском писателе Визбуле Берпе, который нашел на Дальнем Востоке не только дедушку «Пальма», латышского крестьянина, приехавшего сюда в начале века, и рассказал об этом на страницах «Литературной газеты», но и целую Ригу. Да, да, местечно есть такое, неподалеку от Находки, носящее название — Рига. Будь среди нас украинские писатели, они нашли бы в Приморье и Черниговку, и Полтавку, где живет много украинцев. Названия местечек Астраханка, Покровка, Казанка тоже

не просто возникли. И мы все вместе с москвичами должны быть довольны открытием... Ясной Поляны — лесопункта в Анучине...

В Находку, в строящийся тогда портовый город, мы приехали ночью, и на другой же день на встрече с портовыми рабочими, матросами, населением города Яшин прочитал стихи, посвященные Находке.

Бухта Находка. Зеленый туман.
Берег местами дикий.
Бухта... и все-таки океан, Тихий
И даже Великий.

Салтыков-Щедрин как-то писал: «Литература изъята из законов тления, она одна не признает смерти».

Эти слова полностью относятся к творчеству Александра Яшина.

Поэзии Яшина жить и жить, не зная тления!

ИСФАГАНСКИЙ КОВЕР

Удивительно сложилась судьба дагестанского Петефи — Эффенди Капиева. Когда он был молод, его душило косноязычие: сын лудильщика, сам лудильщик, горец не ладил с русским языком, на котором уже писал. Чуть позже стала его донимать язва желудка, которая потом рано, очень рано сведет в могилу... У Капиева был еще недуг, который был похлеще язвы:

это его враги-завистники, которые выматывали его силы. Завистники, которым удалось изгнать своего Петефи из Дагестана.

Эффенди дрался. С косноязычием неродного языка, исподволь покоря его. Дрался с язвой желудка, которая не на шутку одолевала его. Обливаясь потом, дрался с ветряными мельницами, отдавая этой ненужной борьбе много душевных сил. И весело, неукротимо писал. Война в его жизни стала привычным делом.

Я знал Капиева до Великой Отечественной войны, был с ним на фронте несколько месяцев, видел его перед самой смертью, когда язва уже разгулялась. Но и она, разгулявшаяся язва, была побеждена. Капиев стал тем, каким он есть, дагестанским Петефи, победившим смерть. Последний день, проведенный Капиевым на больничной койке перед операцией, стал первым днем его бессмертия.

Эффенди очень любил лакскую пословицу: «На дне терпенья оседает золото». Однажды даже телеграмму из Москвы послал жене: «Дне терпенья оседает золото».

Вот, должно быть, дивились телеграфистки, отбив такую телеграмму.

Исфаганский ковер... Но почему я так странно озаглавил эти скупые строки о друге своем и учителе? Потому что в этих двух словах, на мой взгляд, ведь Эффенди Капиев. Исфаганский ковер, как известно, чудо ковер. Чем его чаще трясут, тем на нем ярче краски, сочнее.

Да, Эффенди прав: «На дне терпенья оседает золото»!

Источник: Гурунц Л. К. Яшинские рябины : [воспоминания] / Л. Гурунц // Звезда. — 1988. — № 3. — С. 186–188. — (Публикации). — В ст.: Из записных книжек / Л. Гурунц.